

---

---

Виктор МИРОШНИЧЕНКО

# МЫ НЕ УСПЕЛИ ОГЛЯНУТЬСЯ...

## Повесть

### Глава 1

Можно ли описать героя произведения одним словом, чтобы читатели сразу все про него поняли? Далеко не всякого, но меня можно. Вот это слово: бессонница. Каким-то невообразимым образом она стала основой моего существования. Как и прежде, по привычке, ровно в полночь я раздеваюсь и ложусь в постель. Засыпаю я быстро, но во втором часу просыпаюсь, и с таким чувством, как будто совсем не спал. Приходится вставать с постели и зажигать свет. Часа два я хожу из угла в угол по комнате. В редкие дни мне удается заснуть после этого. В остальные дни, когда надоедает ходить, сажусь за свой стол. Сажусь неподвижно, ни о чем не думая и не испытывая никаких желаний; если передо мной лежит книга, то машинально я придвигаю ее к себе и начинаю читать непрерывно. Так, недавно в одну ночь я прочел машинально целый роман под странным названием: «Это было навсегда, пока не кончилось». Или же я воображаю лицо кого-нибудь из друзей-товарищей и начинаю вспоминать: в каком году и при каких обстоятельствах мы с ним познакомились, как вместе слушали или проводили время. Люблю прислушиваться к звукам. Жена пройдет через зал из своей спальни, то скрипнет рассыхающийся паркет, то неожиданно тихо загудит труба водопровода.

Не спать ночью — значит каждую минуту сознавать себя ненормальным, а потому я с нетерпением жду утра и дня, когда я имею право не спать. Проходит много томительного времени, пока за окнами начнет мало-помалу бледнеть воздух, раздадутся на улице шум транспорта и голоса...

День начинается у меня приходом жены. Она входит ко мне в халате, непричесанная, но уже умытая, пахнущая духами, и с таким видом, как будто вошла нечаянно, и всякий раз говорит одно и то же:

— Извини, я на минутку... Ты опять не спал?

---

Виктор Викторович Мирошниченко — самодеятельный писатель, автор песен и стихов, родился в 1968 году. С 1991 года живет в Москве. Работал психотерапевтом, специалистом по человеческим ресурсам, сейчас — коуч, тренер и международный аудитор. Окончил Московский государственный университет (факультет психологии) в 1998 году. Литературным творчеством начал заниматься в 1986 году как самодеятельный автор-исполнитель своих песен. С 1993 года начал переводить стихи и песни зарубежных авторов. С 2000 года начал писать рассказы. Повесть «Мы не успели оглянуться», написанная в 2024 году, — это авторский дебют большой прозы. Произведения автора публиковались в сети Internet, а также в сборниках «Антология живой литературы» издательства «Скифия» (Санкт-Петербург).

Теперь она садится за мой стол и начинает говорить. Я не пророк, но заранее знаю, о чем будет речь. Каждое утро одно и то же. Обыкновенно, после тревожных расспросов о моем здоровье, она с не меньшей тревогой вспоминает о нашем сыне — офицере, служащем в новых регионах. Сын звонит редко, ничего не рассказывает, и жена, конечно, волнуется. Весь день смотрит телевизор, все каналы и передачи, где есть репортажи с фронта, пытаюсь что-то для себя выяснить или узнать родное лицо среди бесконечных лиц в масках.

— Ты же знаешь, им нельзя пользоваться телефонами, — говорю я жене, — их засекают, атакуют дронами и ракетами. Ему нужно отъехать километров за двадцать, чтобы спокойно тебе позвонить, а как он может бросить своих? Он теперь комбат, батя, по-нашему — по-солдатски...

— Да, комбат. А где его бывший комбат?

Я знаю, что его бывший комбат убит, но ничего не говорю жене. Эта история мелькала в новостях, и жена наверняка ее видела. Спасает только то, что комбатов на фронте много.

— Ну, его комбат теперь полком командует, — отвечаю я жене.

— Ты всегда сочиняешь. И полков там нет никаких, только бригады.

Я поражаюсь, что женщины у нас стали разбираться в армейской организации лучше мужчин. Мне особенно нечего сказать, дальше я слушаю, машинально поддакиваю, и, вероятно, оттого, что не спал ночь, странные, ненужные мысли овладевают мной. Я смотрю на свою жену и удивляюсь, как ребенок. В недоумении я спрашиваю себя: неужели эта старая женщина была когда-то той самой тоненькой Леночкой, моим ангелом, которую я страстно полюбил за хороший, ясный ум, за чистую душу и красоту. Неужели это та самая жена моя Елена, которая когда-то родила мне сына, а потом дочь?

Я напряженно всматриваюсь в лицо этой старой женщины, ищу в ней свою Лену, но от прошлого у нее уцелел только страх за мое здоровье да еще манера называть мою шапку — нашей шапкой. Мне больно смотреть на нее, и чтобы утешить ее хоть немного, я позволяю ей говорить что угодно и даже молчу, когда она несправедливо судит о людях или ругает меня за то, что я не издаю книги и учебники, за которые сейчас платят хорошие деньги.

Кончается наш разговор всегда одинаково. Жена вдруг вспоминает, что я еще не завтракал, быстро идет и останавливается у двери, чтобы сказать:

— Никого мне так не жаль, как нашу бедную Анюту. Учится девочка в университете, на филологическом факультете. Ты же знаешь, чьи дочери с ней учатся? Она постоянно в светском обществе, а одета бог знает как. Такая шубка у нее, что на улицу стыдно показаться. Будь она чья-нибудь другая дочь, это бы еще ничего, но ведь все ее однокурсники знают, что ее отец — знаменитый профессор этого университета!

Так и начинается мой день.

Когда я пью чай после завтрака, ко мне входит моя Анюта, в шубке, в шапочке и с сумкой с ноутбуком, уже совсем готовая, чтобы идти в университет. Ей восемнадцать лет, она первокурсница. На вид она моложе, совсем подросток, хороша собой и похожа на мою жену в молодости. Она нежно целует меня в висок и в руку и говорит:

— Здравствуй, папочка. Ты здоров?

В детстве она очень любила мороженое, и мне часто приходилось водить ее в кафе, где его подавали. Мороженое для нее было мерилем всего прекрасного. Если ей хотелось похвалить меня, она говорила: «Ты, папа, пломбир!»

Теперь я действительно холоден, как мороженое, и мне стыдно. Когда входит ко мне дочь и касается губами моего виска, я вздрагиваю, точно в висок жалит пчела, напряженно улыбаюсь и отворачиваю лицо.

В девять пятнадцать мне уже надо вызывать такси, чтобы ехать в университет. «Yandex-taxi» последнее время работает плохо, машину приходится ждать двадцать-тридцать минут. Я хожу и смотрю на ключи от машин, которые аккуратно развешаны в ключнице в коридоре. Иногда соблазн велик сбросить заказ и поехать на машине самому. Но все-таки страх, что что-нибудь сломается по дороге или какая-нибудь мелкая авария и я непременно опоздаю на лекцию, заставляет меня отбросить идею сесть за руль после бессонной ночи.

Когда вхожу в университетский корпус, турникет распахивается и меня встречает старый сослуживец, начальник охраны и мой тезка по отчеству Александр Викторovich. Поздоровавшись за руку, он крикает и говорит:

— Ну что, мороз, Викторыч!

Или же если на улице осень, то:

— Ну что, дождик, Викторыч!

Затем он идет чуть впереди меня, стараясь отворять на моем пути все двери, и, пока мы идем до моего кабинета, успевает сообщить какую-нибудь университетскую новость. Благодаря короткому знакомству, какое существует между всеми университетскими охранниками, ему известно все, что происходит на факультетах, в канцелярии, в ректорате, в библиотеке. Чего только он не знает? Когда у нас злобою дня бывает, например, отставка декана, то я слышу, как он, разговаривая с молодыми охранниками, называет кандидатов и тут же поясняет, что такого-то не утвердит ректор, такой-то сам откажется, а такого-то утвердит ректор, и он не откажется, но его не одобрит министр. Потом вдается в фантастические подробности о каких-то таинственных бумагах, полученных в канцелярии, о секретном разговоре, бывшем якобы у министра с ректором, и т. п. Если исключить эти подробности, то в общем он почти всегда оказывается прав. Характеристики, даваемые им каждому из кандидатов, своеобразны, но тоже верны. Если вам нужно узнать, в каком году кто защищал диссертацию и на какую тему, что приносил на банкет по этому поводу, кто и когда получил звание или вышел на пенсию, то призовите на помощь этого верного солдата, и он не только назовет вам год, месяц и число, но и сообщит также подробности, которыми сопровождалось то или другое обстоятельство. Так помнить может только тот, кто любит.

Он еще и хранитель университетских преданий. От своих предшественников он получил в наследство множество легенд из университетской жизни, прибавил к этому богатству немало своего добра, добытого за время службы, и если хотите, то расскажет вам много длинных и коротких историй. Он может поведать о необыкновенных мудрецах, знавших все, о замечательных тружениках, не спавших по неделям, о многочисленных мучениках и жертвах науки; при этом всегда добро торжествует у него над злом, слабый, но правый всегда побеждает сильного, но лживого, мудрый — глупого, скромный — гордого... Нет надобности принимать все эти небылицы за чистую монету, но отфильтруйте вымысел, и останется то, что нужно: славные традиции и имена истинных героев, признанных всеми. Если бы люди любили науку, ученых и студентов так, как Александр Викторovich, то писатели давно бы посвятили им эпопеи, сказания и жития, коих, к сожалению, пока не создано.

В коридоре Александр Викторovich заговорщическим шепотком сообщает мне:

— Викторыч, по поводу твоей Анюты. К ней приклеился ухажер. С виду нормальный парень, но не местный, крымский. Женя Гоцан. Красивый, высокий, здоровый такой, короче, большая женская мечта. Пятикурсник с юридического. Биография чистая, но фамилия какая-то не наша, поэтому пробил его по своим каналам. Папа работает в Правительстве Крыма, мама — бизнесвумен. Еще надо что узнать? Недвижимость, связи?

— Узнай, Викторыч. Всегда высоко ценю твою помощь. Благодарствую!

Сообщив мне новость, Александр Викторович придает своему лицу строгое выражение, и у нас начинается деловой разговор. Если бы в это время кто-нибудь посторонний послушал, как он свободно обращается с терминологией, то, пожалуй, подумал бы, что это ученый, замаскированный охранником. Но все же толки об учености университетских охранников сильно преувеличены. И еще я знаю, что Александр Викторович очень хочет мне поведать истории своей буйной молодости: о службе в уголовном розыске и в афганском отряде «Кобальт», о своем ордене и тяжелом ранении. Но он интеллигентно ценит мое время и ждет, когда я сам спрошу его об этом, а я столь увлечен наукой и работой, что времени на это совсем не остается.

В моем университетском кабинете, нагнувшись над книгой или глядя в экран компьютера, меня встречает Алексей Николаевич, мой доцент. Он трудолюбивый, скромный, но бесталанный человек лет сорока пяти, уже лысенький и с большим животом. Работает он с утра до ночи, читает массу литературы, отлично помнит все прочитанное — и в этом отношении он не человек, а квантовый компьютер; в остальном же прочем — это ломовой конь или, как иначе говорят, ученый тупица. Характерные черты ученого тупицы, отличающие его от таланта, таковы: кругозор его тесен и резко ограничен темой исследования; вне своей специальности он наивен, как ребенок. Помнится, как-то утром я вошел в кабинет и сказал:

— Представьте, какое несчастье! Умер Юрий Мефодьевич Соломин.

Милейший Алексей Николаевич спросил:

— А какой предмет он преподавал?

Кажется, запой у него над самым ухом Анна Нетребко, случись землетрясение, он не пошевелинется ни одной конечностью и преспокойно будет смотреть прищуренным взглядом в монитор или в книгу.

Другая черта Алексея Николаевича — фанатическая вера в непогрешимость науки и, главным образом, всего того, что пишут в научных журналах. Он уверен в самом себе, знает цель жизни и совершенно незнаком с сомнениями и разочарованиями, от которых седеют таланты. Рабское поклонение авторитетам и отсутствие потребности самостоятельно мыслить. Разубедить его в чем-нибудь трудно, спорить с ним невозможно. Попробуйте поспорить с человеком, который глубоко убежден, что самая лучшая наука — философия, самые лучшие люди — философы, самые лучшие традиции — философские. Для ученого же и вообще образованного человека могут существовать только традиции общеуниверситетские, без всякого деления их на философские, юридические, исторические и т. п., но Алексею Николаевичу трудно согласиться с этим, и он готов спорить с вами до Страшного суда.

Будущее его представляется мне ясно. За всю свою жизнь он напишет много сухих, очень приличных рефератов и статей, публикуемых «Вопросами философии», сделает с десяток добросовестных переводов, даже напишет монографию и защитит докторскую, но пороха не выдумает. Для пороха нужны смекалка, изобретательность, умение фантазировать — вдруг увидеть взрыв, хотя десятками лет ты с сородичами мог наблюдать только огонь, а у Алексея Николаевича нет ничего подобного. Короче говоря, это не хозяин в науке, а работник. Работники в науке, как и в любом другом деле, нужны и важны, поэтому я уважаю их вклад в общее дело.

Без всякой надобности я смотрю на часы и говорю:

— Что ж? Надо идти читать лекцию.

Каким мое чтение лекции было прежде? Я читал неудержимо быстро, страстно, и, кажется, не было на свете той силы, которая могла бы прервать течение моей речи. Я знал, о чем буду читать, но никогда не думал, как буду читать, с чего начну и чем за-

кончу. Единственный мой противник здесь находится во мне самом. Это — бесконечное разнообразие форм, явлений и законов и множество ими обусловленных своих и чужих мыслей. Каждую минуту я должен иметь ловкость выхватывать из этого громадного материала самое важное и нужное и так же быстро, как течет моя речь, облекать свою мысль в такую форму, которая была бы доступна студентам и возбуждала бы их внимание, причем надо зорко следить, чтобы мысли передавались не по мере их накопления, а в известном порядке, необходимом для правильной компоновки картины, какую я хочу нарисовать. Далее я стараюсь, чтобы мои определения были кратки и точны, а фразы максимально возможно просты и красивы. Каждую минуту я должен осаживать себя и помнить, что в моем распоряжении имеются только час и двадцать минут. На лекции я мог всецело отдаваться страсти и понимал, что вдохновение существует на самом деле.

Теперь же на лекциях я испытываю одно только мучение. Не проходит и получаса, как я начинаю чувствовать непобедимую слабость в ногах и плечах; сажусь в кресло, но сидя читать я не привык; через минуту поднимаюсь, продолжаю стоя, потом опять сажусь. Во рту сохнет, голос сипнет, голова кружится... Чтобы скрыть от слушателей свое состояние, я то и дело пью воду, кашляю, изображаю, что мне мешает насморк. Так продолжается около часа, потом я отвечаю на вопросы студентов, невпопад рассказываю им интересные философские истории и байки, для развития их общего кругозора. В последний учебный год мне, главным образом, стыдно за мои лекции.

Мои совесть и ум говорят мне, что самое лучшее, что я мог бы теперь сделать, — это прочесть прощальную лекцию, сказать им последнее слово, благословить их и уступить место человеку, который моложе и сильнее меня. Но пусть судит меня Бог, у меня не хватает мужества поступить по совести.

К несчастью, я не богослов. Мне отлично известно, что проживу я еще не больше года; казалось бы, теперь меня должны больше всего занимать вопросы о загробных потемках и тех видениях, которые посетят мой могильный сон. Но почему-то душа не хочет знать этих вопросов, хотя ум и сознает всю их важность. Как тридцать лет назад, так и теперь, меня интересует одна только наука. До конца жизни я буду верить, что наука — самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека, что она всегда была и будет высшим проявлением любви и что только ею одною человек побеждает природу и себя. Вера эта, быть может, наивна и несправедлива в своем основании, но я не виноват, что верю так, а не иначе; победить же в себе этой веры я не могу.

От бессонницы и вследствие напряженной борьбы с возрастающей слабостью со мной происходит нечто странное. Среди лекции к горлу вдруг подступают слезы, начинают чесаться глаза, и я чувствую страстное, истерическое желание протянуть вперед руки и громко пожаловаться. Мне хочется прокричать громким голосом, что меня, вашего профессора, судьба приговорила к смертной казни, что через несколько месяцев здесь, в аудитории, будет хозяйничать уже другой. И в это время мое положение представляется таким ужасным, что мне хочется, чтобы все слушатели ужаснулись, вскочили с мест и в паническом страхе, с отчаянным криком бросились к выходу...

## Глава 2

После лекции я сижу в кабинете до самого вечера с молчаливым Алексеем Николаевичем и работаю. Читаю журналы, диссертации, пишу статьи или готовлюсь к следующей лекции. Работаю с перерывами, так как приходится принимать посетителей.

Вот коллега пришел поговорить о деле.

— Я на минуту, на минуту! Сидите, коллега! Только два слова!

Первым делом мы стараемся показать друг другу, что мы оба необыкновенно вежливы и очень рады видеть друг друга. Я усаживаю его в кресло, а он усаживает меня; при этом мы осторожно поглаживаем друг друга по талиям, касаемся пуговиц, и похоже на то, как будто мы ощупываем друг друга и боимся обжечься. Оба смеемся, хотя не говорим ничего смешного. Усевшись, наклоняемся друг к другу и начинаем говорить вполголоса. Как бы сердечно мы ни были расположены друг к другу, мы не можем не хохотать, если кто из нас сострит, хотя бы и неудачно. Кончив говорить о деле, коллега порывисто встает и, помахивая шляпой, начинает прощаться. Опять щупаем друг друга и смеемся. И когда наконец я возвращаюсь к своему столу, на моем лице все еще сохраняется улыбка, должно быть, по инерции.

Немного погодя приходит студент. Молодой человек приятной наружности. Хорошо и стильно одет. Родители платят за обучение, а в нашем университете это совсем недешево. Вот уж год, как мы с ним в натянутых отношениях: он отвратительно отвечает на зачете и экзамене. При этом я поддерживаю демократическую тенденцию нашего факультета не ставить двоек. Но относительно зачетов у нас такой традиции нет. Таких молодцов, которых я, выражаясь на студенческом языке, гоняю, не ставя им зачет, у меня ежегодно набирается человек семь. И весь последний курс, к которому их «условно» допускает деканат, они ходят ко мне получать этот проваленный в конце четвертого курса зачет. Те из них, кто понимает, что не выдерживают этого испытания по своей неспособности, обыкновенно несут свой крест терпеливо и не торгуются со мной; торгуются же и ходят ко мне только самодовольные сангвиники, широкие натуры, которым такая проволочка как-то портит аппетит и мешает аккуратно посещать ночные клубы. Первых я «доучиваю» и стараюсь дать им все, что они пропустили за первые четыре года обучения, а вторых просто гоняю весь пятый, дипломный курс.

— Садитесь, — говорю я гостю. — Что скажете?

— Извините, профессор, за беспокойство... — начинает он, заикаясь и не глядя мне в лицо. — Я бы не посмел беспокоить вас, если бы не... Я пробовал сдавать вам методологию уже пять раз и... и срезался. Прошу вас, будьте добры, поставьте мне зачет, потому что...

Аргумент, который все ленивые умом будущие философы приводят в свою пользу, всегда один и тот же: они прекрасно выдержали экзамены и зачеты по всем предметам и срезались только на моем, и это тем более удивительно, что по моему предмету они занимались всегда очень усердно и знают его твердо; срезались же они благодаря какому-то непонятному недоразумению.

— Извините, мой друг, — говорю я гостю, — поставить вам зачет я не могу. Пойдите еще почитайте лекции и статьи по теме. Не торопитесь, изучайте статьи постранично, смотрите на ссылки литературы, берите эту литературу в библиотеке, читайте ее, там тоже смотрите на ссылки, по ходу дела читайте и ту, другую литературу, и тогда вам откроются новые, не изведенные вами доселе умозрительные пространства, и только тогда возвращайтесь к моим статьям и лекциям и читайте их более вдумчиво. Тогда вы увидите в них смысл, а не просто красивые слова, которые нужно выучить и рассказать на экзамене. После этого приходите.

Пауза. Мне хочется немножко повоспитывать и помучить студента за то, что пиво и клубы он любит больше, чем науку, и я спрашиваю со вздохом:

— Скажите, дорогой мой, вам было скучно на моих лекциях и семинарах?

— Нет, что вы, профессор!..

— А мне было скучно. Знаете почему? Никакой субъективации от вас я не увидел. Объясню вам. Кроме того, чтобы у человека родилась гениальная мысль, ему нужно

иметь драйв, чтобы ее высказать. Этот драйв и есть условие существования личности. Личностями не рождаются. Так где же вам, как не в стенах университета, становиться личностью?

Студент понуро молчит, а я продолжаю:

— Но и это еще не все. Вам обязательно нужно дождаться, когда ваши коллеги по цеху устроят вам настоящее избиение по поводу вашей гениальной идеи. И нужно выжить при этом избиении, и позволить себе и этот драйв, и свои гениальные мысли в дальнейшей профессиональной жизни. По-моему, самое лучшее, что вы можете теперь сделать, — это совсем оставить философский факультет. Если при ваших способностях вам никак не удастся сдать зачет по методологии, то, очевидно, у вас нет ни желания, ни призвания, ни мышления, ни драйва.

Лицо сангвиника вытягивается.

— Простите, профессор, — усмехается он, — но это было бы с моей стороны, по меньшей мере, странно. Проучиться пять лет и вдруг... уйти!

— Ну да! Лучше потерять даром пять лет, чем потом всю жизнь заниматься делом, которое не любишь.

Да он и не будет заниматься философией. Его отец работает в правительстве. Они с сынишкой только и ждут не дождутся момента окончания университета, чтобы побыстрее приставить этого балбеса к делу. Но и в правительство надо отправить мыслящего и драйвового человека, раз уж он попал в университет и ко мне в руки. Поэтому я спешу сказать:

— Впрочем, как знаете. Итак, почитайте еще немножко и приходите.

— Когда? — глухо спрашивает умственный лентяй.

— Когда хотите. Хоть завтра.

И в его добрых глазах я читаю: «Прийти-то можно, но ведь ты, старый черт, опять меня прогонишь!»

— Конечно, — говорю я, — вы не станете учение оттого, что будете у меня экзаменоваться еще пятнадцать раз, но это воспитает в вас характер. И на том спасибо.

Наступает молчание. Я поднимаюсь и жду, когда уйдет гость, а он стоит, смотрит на окно, теревит свой пиджак и думает. Становится скучно.

Голос у него, надо сказать, приятный, сочный, отлично будет звучать на заседаниях правительственных комитетов и комиссий, а доклады для него и референты напишут. Глаза вроде умные, насмешливые, лицо благодушное, несколько помятое от частого употребления алкоголя и долгого лежания на диване. По-видимому, он мог бы рассказать мне много интересного про московские клубы, про бесконечные роскошные тусовки бриллиантовой молодежи, про свои любовные похождения, про друзей, которых он любит, но, к сожалению, говорить об этом не принято. А я бы охотно послушал.

— Профессор! Даю вам честное слово, что если вы поставите мне зачет, то я...

Как только дело дошло до «честного слова», я машу руками и сажусь за стол. Студент думает еще минуту и говорит уныло:

— До свидания, профессор... Извините.

— До встречи, друг мой. Доброго здоровья.

Он нерешительно уходит и, выйдя из университетского здания, вероятно, опять долго думает; ничего не придумав, кроме «старого черта» по моему адресу, он идет в ближайший ресторан пить пиво или вино и обедать, а потом едет к себе домой спать, чтобы к ночи с новыми силами отправиться в клубы или на тусовки. Мир праху твоему, труженик науки!

Третий визит. Входит молодой сияющий кандидат наук в новом черном костюме из магазина, явно не по фигуре, в очках в блестящей золотой оправе. Представляется и рекомендует. Прошу садиться и спрашиваю, что угодно. Не без волнения молодой жрец науки начинает говорить мне, что в этом году он выдержал экзамены и кандидатскую защиту. Ему хотелось бы поработать у меня, под моим руководством, и я бы премного обязал его, если бы дал ему тему для последующего развития и написания докторской диссертации в будущем.

— Очень рад быть вам полезным, коллега, — говорю я, — но давайте сначала поговорим о том, что такое диссертация. Под этим словом подразумевается сочинение, составляющее продукт самостоятельного творчества. Не так ли? Сочинение же, написанное на чужую тему и под чужим руководством, называется иначе...

Кандидат молчит. Я вспыхиваю, вскакиваю с места, начинаю ходить по кабинету.

— Понимаю, что общая ситуация в мировой науке и в философии в частности требует актуальности, ну или, назовем это так, востребованности государством с последующей героизацией творца этой работы, всеобщей славы и любви народной. А ведь я должен понять, почему вы кровно заинтересованы в решении вопроса, какой темой заниматься. Вот вы — философ, а для обычного человека, не имеющего университетского образования, вы прежде всего мыслитель. Поэтому давайте припомним, что похожая ситуация была в науке в конце восемнадцатого века. И начать нам придется не с востребованности и последующей славы народной, а с... Фихте. Помните такого?

— Да, мы проходили, кажется, на четвертом курсе. И сдавали отдельный зачет по немецкой классической философии.

Я продолжаю ходить по кабинету и понимаю, как мало в итоге остается в головах и душах наших студентов. И кроме нас, их преподавателей, здесь виновных нет.

— Поскольку мы с вами не на зачете, позвольте, я вкратце кое-что напомним. Фихте обсуждал вопрос науки того времени предельно субъективированно: «Что сейчас, в нынешней ситуации, в Германии обязан и должен делать ученый? Что ученые должны исповедовать и как мы, ученые, должны действовать?» Почему он оказал влияние на весь научный мир? Он был искренним, беззаветно смелым, и он не политиканствовал. Он только обсуждал вопрос: что ему как ученому делать? Припоминаете? Согласны с этим?

Кандидат наук кивает и делает усилия, пытаюсь что-то припомнить, но я чувствую, безуспешно.

— Теперь давайте посмотрим на ситуацию иначе. Представьте, что Фихте начал бы обсуждать эту проблему так, как делаем это мы — то есть объективированно: «Уважаемые коллеги! Профессора немецких университетов — отстой, и дно вы все! И делаете совсем не то, что нужно». Каков бы был результат этих его выступлений? Характеристика его личности в научной среде была бы однозначная: последний подонок, задвинем его подальше и не будем обращать на него внимания. Как считаете, верно?

— Совершенно верно, профессор.

— Ну так вот, сейчас лекции и труды Фихте находятся в числе классики не только науки, но и культуры Германии. Почему это произошло, не догадываетесь?

— Из-за субъективированного взгляда?

— Да. Но главное всего то, что Фихте сам для себя эти труды написал, понимаете? В том числе мужественно произнес и это: «Я, Иоганн Готлиб Фихте, — отстой и дно науки». И только по этой причине все немецкие профессора поняли, о чем это он на самом деле там говорит. А кроме этого, дальше нас с вами поджидает и главная методологическая проблема. Ведь одно дело просто понять, как я так могу жить и творить

в этой ситуации, а совсем другое дело — перейти к практическому осмыслению и воплощению, а затем — к последующему выбору своего собственного места в науке, которая, в свою очередь, не где-то на небе, а в конкретной стране находится.

Молодой коллега изо всех сил, судя по его выражению лица, пытается меня понять. Но видно, что он уже близок к последнему издыханию.

— Что это такое для вас может означать? А это постоянные вопросы к себе: «Что я должен делать? За что я беру на себя ответственность? Как я должен себя вести?» И здесь тоже множество подводных камней, которые никак не дают уйти от обсуждения вопроса: «Что должны делать другие?» Поэтому в каждый момент времени надо быть готовым сказать себе: «Что делает другой — это его дело, а я четко знаю свои границы, и уважаю границы других». Поэтому я раскрываю в своем научном труде только то, что делал я, и только с той точки зрения, что мне надо было делать или, наоборот, не надо было делать. Понимаете ли, куда нас привел Фихте?

Кандидат наук молчит, демонстрируя, что он крайне глубоко обдумывает, что мне ответить, но я вижу, что он попросту боится подать голос, как студент боится что-нибудь не то ляпнуть на экзамене и привести экзаменующего профессора в бешенство.

— Фихте привел нас к важной категории. Это есть категория самоопределения. И самоопределение ваше находится вне контекста вашего научного исследования, и оно — не научное исследование. Без вашего самоопределения схема любого научного исследования, которое вы проводите, даст вам ложную онтологическую схему; если сказать по-простому: ваша научная работа будет абсолютно научным враньем с использованием красивых терминов и сложных умственных построений. В итоге написана эта работа будет с одной лишь целью — запутать свой разум и разум тех, кто будет ваше исследование использовать в своей работе. Поэтому поймите меня правильно, именно из-за этого я не торгую темами.

Хрустящий, как новая купюра, кандидат философских наук молчит, и только около его скул выступает легкая краска. Лицо его выражает глубокое уважение к моей учености и авторитету, а по глазам его я вижу, что он презирает и мой голос, и мою жалкую фигуру, и нервную жестикуляцию. В своей пламенной речи я представляюсь ему чудачком, я же хочу донести до него простые, но главные вопросы его жизни:

— Отчего вы не хотите быть самостоятельным? Отчего вам так противна свобода?

Говорю я много, а он все молчит. В конце концов я мало-помалу стихаю и, разумеется, сдаюсь. Кандидат получает от меня тему, звенящую и поющую, как гимн, которой на самом деле грош цена. Дорожная карта этой темы ясна, потому как освещена фонарями диалектического материализма на всем протяжении, как Минское шоссе. За несколько лет он напишет под моим наблюдением никому не нужную докторскую диссертацию, с достоинством выдержит скучный диспут и получит нужную ему ученую степень.

### Глава 3

Часов в восемь-девять вечера я возвращаюсь домой. Два или три раза в неделю меня навещает Костя. Двадцать семь лет назад погиб мой друг Станислав Калиновский. Оставил после себя шестилетнего Костю и большое количество денег. Когда он понял, что его разборки подходят к неминуемому концу, по договоренности назначил меня опекуном. Кроме того, Станислав оставил своего управляющего, который постоянно жил в Европе и руководил семейными финансами, огромную квартиру на Кутузовском проспекте, в гараже четыре автомобиля, загородный дом, дом на Кипре и разнообразные коллекции, до которых я не дошел, с ними разбирается моя жена.

Костю мы усыновили, когда нашему первенцу был год. И наш старший сын сразу превратился в младшего. Заниматься воспитанием Кости мне было некогда, и я часто виню себя, что он вырос разбалованный. Мы с женой сразу полюбили его, и это из-за его какой-то необыкновенной доверчивости, с которой он принял нас, когда мы переехали на Кутузовский. Эта доверчивость всегда светилась на его лице. И еще он был очарователен. Бывало, сидит где-нибудь в сторонке и непременно смотрит на что-нибудь с простосердечным вниманием; видит ли он в это время, как я пишу или перелистываю книги, или как жена готовит ужин, или как его сводный младший брат играет с собакой, у него всегда неизменно глаза выражали одно и то же, а именно: «Все, что делается на этом свете, — все прекрасно, интересно и умно». Он был любопытен и любил говорить со мной и играть в шахматы. Больше всего его интересовало, что я читаю и что делаю в университете. Костя легко принял нас как родителей, при этом все равно обращался к нам на «вы», и был добрым и терпеливым ребенком.

Жалею, что у меня не было времени и охоты проследить начало и развитие страсти, которая овладела Костей, когда ему было тринадцать-четырнадцать лет. Я говорю об его страстной любви к рок-музыке. Когда он начал говорить с удовольствием и с жаром о рок-музыке и рок-музыкантах. Своими постоянными разговорами он мог утомить любого, потому жена и дети не слушали его. Только у меня не хватало мужества отказывать Косте во внимании.

И вот когда ему исполнилось восемнадцать лет и он получил право на пользование частью денег, перешедших по наследству, он сказал, что поедет в Америку, откроет там рок-клуб, организует собственный рок-фестиваль и вообще поднимет эту музыку на небесную высоту.

В молодости я часто слушал рок-музыку, особенно мне нравились баллады, и пару раз посещал рок-концерты. По моему мнению, рок-музыка не стала лучше, чем была тридцать лет назад. Это особая религия и чувство свободы для совершенно определенной категории людей. Но для меня это развлечение слишком дорого с точки зрения затрат здоровья и времени, чтобы пользоваться им. Оно отнимает у государства тысячи молодых, здоровых и талантливых мужчин и женщин, которые, если бы не посвящали себя этому увлечению, могли бы быть хорошими врачами, программистами, фермерами, космонавтами, учителями, служащими, рабочими; оно отнимает у людей вечерние часы — лучшее время для умственного труда, дружеских бесед и диспутов.

Костя же был совсем другого мнения. Он уверял меня, что рок-музыка, даже в современном ее виде, выше аудиторий, выше книг, выше всего на свете. Это сила, соединяющая в себе одной все искусства, а рок-музыканты — это миссионеры нашего времени. Никакое искусство и никакая наука в отдельности не в состоянии действовать так сильно и так верно на человеческую душу, как рок-музыка, и недаром поэтому рок-музыкант средней величины и таланта пользуется в любой стране гораздо большей популярностью, чем самый лучший политик, ученый или художник. И никакая публичная деятельность не может доставить такого наслаждения и удовлетворения, как рок-выступление.

И в один прекрасный день Костя уехал в Америку, увезя с собою много денег, тьму радужных надежд и оптимистический взгляд в будущее.

Первые письма его были удивительны. Я читал их и просто изумлялся, как эти небольшие послания могут содержать в себе столько молодости, душевной чистоты, святой наивности и вместе с тем тонких, дельных суждений, которые могли бы сделать честь хорошему мужскому уму. Все: природу, города, которые он посещал, компаньонов, свои успехи и неудачи — он не описывал, а воспевал; каждая строчка дыша-

ла доверчивостью, какую я привык видеть на его лице, — и при всем том масса грамматических ошибок, а знаки препинания почти отсутствовали.

Полтора-два года, по-видимому, все обстояло благополучно: Костя верил в свое дело и был счастлив; но потом в письмах я стал замечать явные признаки упадка. Началось с того, что Костя пожаловался мне на своих партнеров — это первый и самый зловещий симптом; если молодой ученый или литератор начинает свою деятельность с того, что горько жалуется на ученых или литераторов, то это значит, что он уже утомился и не годен для дела. Костя писал мне, что его музыканты не посещают репетиции и никогда не знают слов и партий; в постановке концертов и в манере держать себя на сцене видно у каждого из них полное неуважение к публике. В интересах кассовых сборов, о котором только и говорят, они готовы унизиться до полного оголения на сцене. В общем, надо изумляться, как это рок-искусство до сих пор еще не погибло и как оно может держаться на такой тонкой и гнилой жилочке. Это какой-то табун диких мустангов, которые попали на сцену только потому, что их не приняли бы нигде в другом месте, и которые называют себя музыкантами и певцами только потому, что наглы. Ни одного таланта, но много бездарностей, интриганов. «Не могу вам высказать, как горько мне, что искусство, которое я так люблю, попало в руки ненавистных мне людей» и так далее, все в таком роде.

Дальше был большой перерыв, и следующее письмо я получил с Кипра, где Костя остановился в доме отца и просил денег, потому что потратился на лечение. На Кипре Костя занялся дайвингом, очень этим увлекшись, и даже открыл через год школу для начинающих аквалангистов. Прожив там еще два года, он вернулся.

Пропутешествовал он около шести лет, и все годы, надо сознаться, я играл по отношению к нему довольно незавидную и странную роль. Он ставил передо мной нестандартные задачи, в решении которых я должен был принимать участие. Но всякий раз я терялся, в итоге все мое участие в его судьбе выражалось только в том, что я много думал и писал длинные, скучные письма, которые я мог бы вовсе не писать. А между тем ведь я заменял ему родного отца и любил его, как сына.

Костя не вернулся к нам на Кутузовский. Он снял трехкомнатную квартиру в хрущевке на Новокузнецкой улице, рядом с посольством Индонезии, и обставил ее минимально, но удобно и комфортабельно. Если бы кто-то взялся нарисовать обстановку квартиры, то преобладающим настроением в картине проступила бы лень. Для ленивого тела — мягкий диван, мягкие кресла, для ленивого зрения — линючие, тусклые или матовые цвета; для ленивой души — мебель из ИКЕА и избыток мелких картин, в которых оригинальность исполнения преобладает над содержанием, бесформенные лоскутья вместо занавесок тоже из ИКЕА... Все это вместе с боязнью ярких цветов, симметрии и простора, помимо душевной лени, свидетельствует еще и об извращении естественного вкуса. По целым дням Костя лежит на диване и читает книги, преимущественно современную художественную литературу, будто он готовится стать литературным критиком, а может быть, и писателем. Из дому он выходит редко, друзей у него нет, в гости он приходит только к нам несколько раз в неделю, чтобы повидаться со мной и поговорить, теперь в основном о литературе. Два раза в год выезжает на Кипр, посмотреть, как работает его школа дайвинга, и потренироваться в погружениях под воду. Еще три-четыре раза в год выезжает на погружения в разные моря мира. Еще одно занятие Кости — подводная съемка. Необычайно красивые фото и видео он присылает мне, а я с удовольствием пересылаю их коллегам на факультет биологии. Последние два года, правда, Костя выезжает реже и только в Турцию. Сегодня Костя пришел ко мне в гости, а завтра я после работы навещу его в квартирке на Новокузнецкой.

На ужин он не остается, ссылаясь на режим питания. И я иду ужинать с женой и Анютой.

После ужина я иду к себе в кабинет и закуриваю там трубочку, единственную за весь день. Когда я курю, ко мне входит жена и садится, чтобы поговорить со мной.

— Надо бы нам с тобой поговорить серьезно, Гоша, — начинает она. — Я насчет нашей Анюты... Почему ты не обратишь внимания на ее потребности?

— То есть?

— Ты делаешь вид, что ничего не замечаешь, но это нехорошо. Она уже расцвела, у нее раннее сексуальное развитие, как и у всех сейчас. Она сказала, что у нее появился мальчик. Зовут Женя. Он из хорошего, богатого семейства. У его отца дома в Севастополе и Симферополе, еще большой дом на побережье Крыма. Анюта хочет привести его для знакомства с нами. Что ты скажешь?

— Что сказать? Пусть приводит.

— Георгий, нельзя быть таким беспечным. Тебе непременно нужно съездить в Крым, в Симферополь, разузнать про его семью.

— Не поеду я в Крым, слишком много работы, — говорю я угрюмо.

— Когда речь идет о счастье дочери, надо отбросить все занятия. Так, как ты, нельзя относиться к серьезному шагу дочери. Ну, ты можешь что-то придумать, что обязательно нужно почитать какие-то лекции в их новом университете. У тебя там знакомая профессура, у них связи, ты все узнаешь. Я бы сама поехала, но я женщина. Я не могу заняться этим...

Мне становится больно глядеть на нее.

— Хорошо, Лена, — говорю я ласково. — Если хочешь, то я съезжу в Симферополь и сделаю все, что тебе угодно.

Она прижимает к глазам платок и уходит к себе плакать. Я остаюсь один.

#### Глава 4

С отцом Кости, Станиславом Калиновским, мы вместе служили в Советской армии. Полгода в учебке в Фергане, потом полтора года в Афганистане. Сидели на «точке», три тысячи двести метров над уровнем моря. Контролировали передвижение «духов» и наших войск в радиусе пятидесяти километров. Желания, составляющие основу нашей жизни на высоте, были предельно просты: постоянно хотелось пить и спать.

Станислав был красив, он походил одновременно на пирата и рыцаря, на разбойника и благородного мушкетера, представляя собой какую-то невероятную смесь разнообразных качеств. Он был матерый и храбрый, при этом зачастую беспечный до чрезвычайности, но всегда чертовски удачливый. Это позволяло ему забрести на минное поле, чтобы просто сократить дорогу, и при этом пройти, нигде ничего не зацепив. Или же он мог спокойно заснуть на взлетке перед прыжком, в то время как все остальные проверяли укладку своих парашютов. Как он говорил: «От судьбы не уйдешь! С любимым человеком случиться может что угодно, поэтому не стоит бояться и не нужно ничего планировать заранее». Еще мне очень нравилась другая его фраза: «Я люблю бежать с закрытыми глазами, чтобы не видеть куда». Его дед и бабка по отцу были из выселенных на Урал польских потомственных дворян Калиновских. И в характере и облике Стаса, в манере поведения, видимо, сказывалось благородное происхождение. Мои деды и бабки тоже были выселенными на Урал, но благородной дворянкой была только бабушка Татьяна Николаевна, родом из Петербурга, а остальные все — из казаков. Думаю, что наше со Стасом детство и юность прошли под одну уральскую

копирку, и описывать их лишено всякого смысла, потому что мы так сильно и быстро смогли измениться, что совершенно перестали походить на себя в детстве.

На точке «духи» регулярно не давали нам спокойно жить. Примерно раз в месяц обстрел, примерно раз в два месяца нападение или попытка штурма. Особенно жестким оказался обстрел с последующим штурмом в конце мая 1988 года.

На следующий день, когда мы загружали убитых и раненых в «вертушку», наш командир взвода, которого мы называли «Золотой», лежа на носилках, перед самой погрузкой обернулся ко мне и сказал:

— Северов, ты остаешься за старшего на позиции, пока комбат не пришлет офицера. Держи оборону.

— Есть, товарищ старший лейтенант. Может, сами вернетесь? Мы тут справимся пока.

Золотой ничего не ответил, отвернулся, перевернулся на живот и закрыл голову руками. Я понял, что он не хочет смотреть мне в глаза или не хочет, чтобы я смотрел на его лицо. «Вертушка» поднялась в воздух и скоро скрылась за горизонтом.

Вечером того же дня комбат сурово и отрывисто говорил мне по рации:

— Северов, ты теперь младший сержант и заместитель командира взвода — по должности, а по факту еще и начальник позиции. Мне сказали, что ты суровый челябинский мужик. В учебке чемпионом был, тебя даже не хотели отпускать, чтоб ты на чемпионат вооруженных сил поехал. Что ж не остался в Фергане?

— Я там все выучил, ничего интересного в учебке для меня нет, да и по чемпионатам поездил, надоели слегка. Игра все это. А тут настоящее дело, да еще с такими хорошими пацанами подружился, не хотел расставаться.

— Ладно. Принимай хозяйство. Всех, кто потолковей, — в наблюдение и корректировку, остальных — в охрану и оборону. Вы — глаза трех дивизий. Понимаешь, чем пахнет? От вас зависит, сколько «груза двести» улетит в Союз. Да, и еще: у тебя там этот тупой шахтер на точке, — это он о Степане Провалове, — засунь его куда-нибудь, чтоб сидел тихо.

— Товарищ майор, Провалов в обороне отделения стоит. Он один может в атаку пойти.

— Вот я и говорю. Если нет в башке мозгов, то ко лбу их не пришьешь. Ему бы только в атаку на семь пулеметов. А каким отменным солдатом мог бы быть.

Слова комбата доходят до меня ясно и отчетливо, я будто становлюсь другим человеком. Понимаю, что мне делать и о чем думать. Мы — глаза, должны смотреть, что бы ни случилось, даже пусть небо упадет на землю, армия должна видеть противника. Хорошо объясняет, Батя, одно слово.

Не разделяю, конечно, я его нелюбовь к Степке Провалову. Степка — это недюжинной силы человек, поработавший до армии шахтером в Копейске. Как он сказал, это у них семейная профессия. Я всегда видел в нем русского богатыря Илью Муромца. Он добрый, совершенно без задних мыслей и камней на душе человек. Прямолинейный и честный, всегда в лицо говоривший то, о чем думает. Но больше всего мне нравилась Степкина заразительная улыбка, когда она появлялась на его лице, никто не мог не улыбнуться.

Однако понять обиду комбата можно. Когда нас привезли из учебки и выгрузили в Кабуле, расквартировали в казарме, Степка в первую же ночь смылся в самоволку и напился до того, что вырубился, не дойдя до нашего временного жилища метров двести. Нашел его патруль и, видимо, не без труда притащил в комендатуру. Степка имел почти два метра роста и вес не меньше ста двадцати. Утром мы поняли, что его

нет, но искать было поздно, он спокойно досыпал свой алкогольный сон в комендатуре. Дежурный, веселый офицер, быстро сообразивший, что это из наших, накануне прибывших, уже позвонил комбату, чтобы тот забирал этого «Кинг-Конга» сам. Комбат уже к тому времени вышел на след офицеров, которые ночью устроили попойку и угостили молодого пацана. Их командир отряда сказал комбату: «Ты где такого батыра достал, майор? Он литр спирта у нас выпил, закусывал, грубо говоря, сигареткой, а потом втихаря слился куда-то, мы и пыхнуть не успели. Может, отдашь его мне? Мне в отряде такие ну очень нужны».

Комбату, конечно, все это не понравилось, и он долго грозил Провалову трибуналом и последующим дисбатом. После чего к Степке прицепилась кличка «Провал», которую я не любил. В итоге комбат все-таки «условно» освободил его для выполнения важнейшего задания на точке, пообещав, что в случае любого залета отправит его напрямую в Ташкент под трибунал, минуя кабульскую гауптвахту. Провалов попал в группу со мной и Стасом, нас отправили к самому опытному командиру на самую высокую точку. Как комбат раскидывал нас, вновь прибывших и незнакомых ему солдат, по этим точкам, для меня до сих пор загадка. Видимо, есть у военных особая интуиция и расчет, до которых точная наука еще не дошла.

После того как я остался за старшего на точке, Стас и Степка стали моими лучшими помощниками. А друзьями мы стали, как оказалось, на всю оставшуюся жизнь. Степка разобрался и построил «старых». Пару раз я видел, как он, подняв кого-то на вытянутых руках, выбрасывал его за границу позиции и говорил: «Вали отсюда к „духам“, придурок, там дембель встретишь». Стас помогал мне с «молодыми», долго объясняя им солдатские хитрости, на что у меня просто не хватило бы времени. «Молодые» боялись и обожали Стаса, ловили его слова и глубоко всасывали их, как окружающий разряженный высокогорный воздух.

Через три месяца после майского разговора комбат опять вышел на связь:

— Ну что, Северов, получил пополнение? Смотри, больше не будет. Обещают вывод войск. Слыхали там, в своем глухом кишлаке? Золотого оставили в Союзе служить после лечения. Говорят, что здесь ему пока тяжело будет. Офицера прислать не могу, нет ни одного. Теперь у тебя народу много. И ты теперь сержант. Поздравляю! Как справляешься, замок? Нужен командир отделения? Кого предлагаешь?

— Калиновский Станислав.

— Как отчество?

— Не знаю, товарищ майор.

— А должен знать своих подчиненных. Ладно, передай ему, он теперь младший сержант, командир отделения. По обязанностям сам его сориентируешь. Пришивай-те лычки.

— Нет у нас галуна, товарищ майор.

— Ну, нарисуйте лычки себе на погонах, тоже мне проблема. Что нужно, сержант?

— Повар нужен. Готовим сами по очереди, плохо у нас получается.

— Умеешь ты озадачить начальство. Давайте сами пока, как можете. Что еще?

— Керосину для керогаза побольше. Хватает только на один-два раза в день приготовить.

— Вы там совсем зажрались? Жара все лето стоит, мы чуть не сдохли. Тушенка в банках и так горячая, еще готовите там что-то на огне. Не дам больше керосина, «духи» одной миной разнесут эту вашу кухонную палатку, и кранты. Сгореть с гарантией хотите, как в аду?

— Никак нет, товарищ майор.

— Еще надо что-нибудь?

— Гранаты для АГС-17 можно побольше нам закидывать? Быстро кончаются.

— Это вы там салюты победы, что ли, бьете? Тоска замучила?

Как же ты прав, батя! Какое забытое, детское, милое слово: салют. Но если честно, стрельбой из АГС-17, как со стрельбой одиночными из ДШК, мы просто вырабатываем меткость. Я поражаюсь, что комбат говорит со мной так, будто давным-давно меня знает, хотя разговариваем мы с ним второй раз в жизни, а видел я его только мельком в Кабуле. Уверен, что при встрече он не поймет, кто перед ним, потому что не знает, как я выгляжу.

— Слушай меня, Северов! Заканчивайте все это. Государство, вместо того чтобы для народа что-то сделать, штампует для вас эти гранаты. Пришлю вам пару ящиков следующей «вертушкой», учти, это последние, растягивайте их, как хотите, до конца года. На крайний случай ручными гранатами отобьетесь. Все понял?

— Так точно, товарищ майор!

Я понимаю, что дальнейшие просьбы на этом закончены.

Прошло еще три месяца, и комбат в третий раз вышел на связь со мной:

— Так, Северов, посылаю к тебе следующей «вертушкой» офицера. Он будет командиром взвода. Расскажи ему все. Особенно на него не рассчитывай, с тобой спрашивать все равно буду. Он после училища. Прислали его откуда-то сверху, в штаб служить и на парад правофланговым. Высокий блондин в черном сапоге. Последние два месяца всех достал в штабе армии, чтобы его куда-нибудь в гарнизон отправили, хочет в реальных делах поучаствовать. Вот и летит к вам на точку, будет у тебя командиром взвода и начальником позиции. Я с ним передал все ваши ордена и медали, чтобы он вам их торжественно вручил.

— Так точно, товарищ майор!

— С лейтенантом к вам повар летит. Этого достал тебе с гауптвахты. Он из складских, попал в компанию прапоров и офицеров-тыловиков. Воровали вагонами все подряд со складов, у афганцев меняли на джинсы и технику, отправляли в Союз. Там спекулянты все это толкали. Всех повязал особый отдел, а этого, поскольку он один солдат был в этой шайке-лейке, отправили на губу, и дальше у него только трибунал и дисбат. Вот он на коленях и стоял, готовый кровью все смыть. Он из Ташкента, говорит, умеет готовить. Плов точно, ну а остальное — на месте научится. Пусть пашет в хвост и в гриву. Если не вернется, я точно плакать не буду, ничего путного на гражданке из него не получится. Он «старый», но ты же знаешь, «старых» мы оставляем до вывода войск. Вы глаза трех дивизий, помни, товарищ старший сержант!

— Я сержант, товарищ майор.

— Не перечь начальству и тyani службу, старшой. Надеюсь, не нажретесь там по поводу присвоения очередного воинского звания?

— Наше дело внимательно наблюдать и оборону держать, а не нажираться, товарищ майор.

— Ого, Северов, учишься потихоньку!

На следующий день с «вертушки», как с небес, к нам сошел лейтенант Михаил Силантьев. Он был из генеральской московской семьи: папа генерал, дедушка генерал и даже прадедушка — все генералы. Увидев Степку Провалова, лейтенант сразу понял, что устанавливать свои порядки ростом, глоткой или харизмой у него не получится, здесь он без шансов второй. На первом построении дрожащим, срывающимся голосом, фальшиво пытаюсь подражать Левитану, лейтенант Силантьев зачитывал нам указы о награждениях. Мы едва сдерживались от смеха, потому что он, стоя перед на-

шим строем, очень походил на большого доброго клоуна, который вдруг решил показывать фокусы, которым толком еще не научился. Дрожащими пальцами он криво вешал медали на кителя, а с орденами у него вообще ничего не вышло, и он просто нам их раздал, горячо и долго пожимая руки кавалерам.

В последующие два месяца, в связи с пришествием командира, у нас, кроме свежих анекдотов, появились соревнования по стрельбе, подобие утренней зарядки и очень толковые и систематические тренировки по рукопашному бою и самообороне, которым лейтенант научился в подпольных московских клубах карате, а потом усовершенствовал в военном училище. Наша жизнь реально «просветлела», приближался вывод войск, и новый командир легко нас заражал оптимизмом по поводу и без повода. Мы скоро начали называть его просто «Миха», а иногда и «Лейтенант Д'Артаньян». Миха действительно был «звезда», уверенный в себе и смекалистый человек, в отличие от нас, долго сидевших и одичавших в горах, жизнерадостный, предвосхищающий свою головокружительную карьеру в армии.

Повар оказался русским парнем Серегой из Ташкента, умеющим готовить только плов, но быстрообучаемым. Он с задором человека, избежавшего нескольких лет пребывания в тусклой солдатской тюрьме, приступил к кухонным обязанностям, и скоро мы стали питаться заметно лучше. Серега во время наших трапез бегал с черпаком, пытаясь закинуть нам в котелки добавки, и постоянно спрашивал: «Я ведь теперь настоящий десантник? Я же с вами в ВДВ служу?» Мы поднимали на него бессонные и выцветшие от постоянного наблюдения глаза и молча кивали в ответ.

Уже и «духи» беспокоили нас редко и вяло, понимая, что мы сами скоро уйдем с этой высоты, политой кровью и усеянной гильзами по самые щиколотки.

Еще хорошо помню, когда шли колонной к границе на выводе войск, я был командиром первого бронетранспортера, а Стас — второго. За Стасом тянулась колонна из технических и грузовых машин, набитых солдатами и офицерами, и пары танков. В замыкающем колонну бронетранспортере сидел командиром Степка Провалов, получивший не без помощи Михи звание младшего сержанта. Примерно в середине марша я наехал на первую мину, это минус два колеса с левого борта. Быстро перекрутили одно из колес с правого борта на левый, и колонна двинулась дальше. Еще километров через десять я наехал на вторую мину, и это еще минус два колеса. На четырех колесах, к сожалению, на бронетранспортере не поедешь. С кружащейся головой я снял пулемет и передал коробки с патронами водителю, и мы, оставив свой бронетранспортер на обочине под расстрел нашими же танками, вдвоем направились к грузовой машине, где ехал наш взвод во главе с Михой. Проходя мимо бронетранспортера Стаса, я сказал ему: «Давай, Стас, веди колонну, теперь ты первый!» И Стас дальше вел колонну до самой границы. После марша он признался мне, что очень перепугался после второго подрыва, понимая, что его машина становится ведущей. На это я сказал ему: «А я, наоборот, успокоился. Ты фартовый, я понял, что дальше у нас все будет ровно. И война именно в этот момент для меня закончилась».

Я часто вспоминаю и думаю: как мы смогли пережить все и не сойти с ума, преодолеть боль, холод и голод? Какие общие связующие идеи и силы действовали на нас, и мы принимали их как свои собственные? Конечно, чувство долга: мы должны защитить Родину. Что еще помогло? Я писал песни, которые все наши любили петь, особенно Миха. Он обладал глубоким оперным голосом, и мне было удивительно, что такой человек окончил рязанское училище ВДВ, а не оперное отделение консерватории. Миха стал настоящим фанатом моих песен и всегда с восхищением смотрел на меня, когда я вдруг пел новую, неизвестно откуда взявшуюся в афганских горах

песню. Три тысячи двести метров выше моря — это, видимо, совсем недалеко от Бога. Странно, но после армии я никогда больше не писал песен и даже стихи писал совсем редко. Как приходило ко мне вдохновение, откуда бралось? Я помню только, что когда от усталости закрывал глаза в окопе, то перед самым сном песня целиком, от начала и до конца, вместе с музыкой входила в меня. Проснувшись утром, я только записывал слова и быстро подбирал аккорды на гитаре. А дальше песня расходилась по всему нашему взводу так, будто была нашей общей.

После службы нас, как и всех, закружила совсем другая жизнь. Я поехал в Москву в университет, Стас к своему дяде в Наро-Фоминск, чтобы встать на Киевскую трассу сотрудником ГАИ. Степка — в родную шахту, Миха — служить Родине. Но Родина вскоре у нас поменялась. Трагичнее всего сложилась судьба нашего богатыря Степки, которому пришлось вылезти из своей копейской шахты и заняться рэкетом в Челябинске, где в 1992 году он получил очередь в грудь из АКМ от конкурентов. Фартовый Стас через год стояния на трассе познакомился с дочерью очень влиятельного, богатого человека. Благородная кровь, видимо, сослужила ему добрую службу, девушка Света влюбилась в него без памяти, а ее папа принял его как родного в семью. Уже в 1991 году мы отмечали рождение Кости. Однако семейное состояние требовалось отстаивать, и в борьбе за него Стас пережил потерю своего нового папы, своей любимой жены и в итоге положил на этот алтарь и свою жизнь в 1997 году. Миха дослужился до полковника и вышел в отставку, не став генералом и нарушив тем самым семейную традицию. Вернувшись в Москву, лет десять держал свой клуб по единоборствам, часто заезжал ко мне в гости на Кутузовский со своей женой и дочерью и всегда продолжал любить и петь мои песни. В конце февраля 2022 года Миха снова запросился в армию инструктором. Сейчас занят переобучением офицеров, с гордостью говорит, что среди его учеников есть герои России. В последнем телефонном разговоре по секрету сказал: «Слышал про твоего сына. У него полный порядок. Учить такого все равно что портить».

## Глава 5

Итак, сегодня вечером я еду к Косте с ответным визитом. По обыкновению, в это время он сидит за компьютером и читает что-нибудь. Встречая меня, он лениво протягивает руку.

— А ты все сидишь, — говорю я, помолчав немного и отдохнув. — Это нездорово. Ты бы занялся чем-нибудь!

— Чем? Мужчина может быть только воином или охотником. В охотники я не пойду, животных жалко. Воевать меня не возьмут, помните, ваши же друзья нашли у меня псориаз?

— Тогда, может быть, тебе жениться? — предлагаю я полушутя.

— Не на ком. Да и незачем.

— Так жить нельзя.

— То есть без жены? Для чего она? Впрочем, для страсти женщин сколько угодно, была бы охота.

— Это, Костя, некрасиво.

— Что некрасиво?

— Да вот то, что ты сейчас сказал.

— А то, что у всех женщин вокруг глазки прелестные и пустые, как у котят? Это все равно красиво?

Заметив, что я огорчен, и желая сгладить дурное впечатление, Костя говорит:

— Пойдемте. Идите сюда. Вот.

Он ведет меня в очень уютную комнатку и говорит, указывая на письменный стол:

— Вот... Приготовил для вас. Тут вы будете заниматься. Приезжайте каждый день и привозите с собой работу. А дома вам только мешают. Будете здесь работать? Хотите?

Чтобы не огорчить его отказом, я отвечаю, что буду приезжать к нему пару раз в неделю, что комната мне очень нравится. Затем мы оба садимся в гостиной и начинаем разговаривать.

Тепло, уютная обстановка и присутствие хорошего человека возбуждают во мне теперь не чувство удовольствия, как прежде, а сильный позыв к жалобам и брюзжанию. Мне кажется почему-то, что если я поропщу и пожалуюсь, мне станет легче.

— Плохо дело у меня! — начинаю я со вздохом.

— Что такое?

— Видишь ли, мой друг. Самое лучшее и самое святое право королей — это право помилования. И я всегда чувствовал себя королем, так как безгранично пользовался этим правом. Я старался не судить людей, был снисходителен, охотно прощал всех направо и налево. Где другие протестовали и возмущались, там я только советовал и убеждал. Всю свою жизнь я стремился к тому, чтобы мое общество было выносимо для семьи, студентов, коллег, окружающих. И такое мое отношение к людям, я знаю, воспитывало всех, кому приходилось быть около меня. Но теперь уж я не король. Во мне происходит нечто такое, что прилично только рабам: в голове моей день и ночь бродят злые мысли, а в душе свили себе гнездо чувства, каких я не знал раньше. Я и ненавижу, и презираю, и негодую, и возмущаюсь, и боюсь. Я стал не в меру строг, требователен, раздражителен, нелюбезен, подозрителен. Даже то, что прежде давало мне повод пошутить да добродушно посмеяться, родит во мне теперь тяжелое чувство. Изменилась и моя логика: прежде ненавидел насилие и произвол, а теперь ненавижу людей, употребляющих насилие, точно виноваты они одни, а не все мы, которые не умеем взаимодействовать и договариваться друг с другом. Что это значит? Если новые мысли и новые чувства произошли от перемены убеждений, то откуда могла взяться эта перемена? Разве мир стал хуже, а я лучше, или раньше я был слеп и равнодушен? Если же эта перемена произошла от общего упадка физических и умственных сил — я ведь болен, — то положение мое совсем печально: значит, мои новые мысли ненормальны, нездоровы, я должен стыдиться их и считать ничтожными...

— А может быть, болезнь тут ни при чем, — перебивает меня Костя. — Просто у вас открылись глаза. Вы увидели то, чего раньше не хотели замечать. По-моему, прежде всего вам нужно окончательно порвать с семьей и уйти.

— Ты говоришь чушь.

— Вы уже не любите жену, и это видно, что ж тут кривить душой? И разве это семья?

— Костя, — говорю я строго, — прошу тебя остановиться. Я не уйду из семьи хотя бы потому, что моя жена всю жизнь любила и до конца своей жизни будет любить моих детей. И тебя тоже!

— А вы думаете, мне весело говорить об этом? Слушайте, бросьте все и уезжайте. Поезжайте за границу. Чем скорее, тем лучше. Вы же говорили, что вам Италия очень нравится.

Я много поездил по Европе и Америке с лекциями и докладами на конференциях. Но только один раз за всю жизнь я был в отпуске за границей. Как раз в Италии. И маршрут хороший: Рим—Флоренция—Милан—Бергамо—Венеция. Звучит как стихотворение. Есть ли одно слово, чтобы можно было охарактеризовать Италию? Конечно, есть, и это слово — красота.

— Не могу уехать. Как брошу университет?

— Да бросьте его! Что он вам? Все равно никакого толку. Читаете вы уже тридцать лет, а где ваши ученики? Много ли из них стало знаменитыми учеными? Сочтите-ка! А чтобы множить докторов наук, которые эксплуатируют невежество, позволяя олигархам наживать миллиарды, не нужно быть талантливым и хорошим человеком. Вы лишний.

— Замолчи, Костя, иначе я уйду! — ужасаюсь я.

Дальше мы идем пить чай и плавно переходим к другим темам. После того как я уже пожаловался, мне хочется дать волю другой своей старческой слабости — воспоминаниям. Я рассказываю Косте о своем прошлом и, к великому удивлению, сообщая ему такие подробности, о каких я даже не подозревал, что они еще живы в моей памяти.

— Мне не на что жаловаться. Мечты мои сбылись. Я получил больше, чем смел мечтать. Тридцать лет я был любимым профессором, имел превосходных коллег. Я любил, женился по страстной любви, имел детей. Одним словом, если оглянуться назад, то вся моя жизнь представляется мне красивой, талантливо сделанной композицией. Теперь мне остается только не испортить финала. Для этого нужно умереть по-человечески. Если смерть в самом деле опасность, то нужно встретить ее так, как подобает учителю, ученому и христианину: бодро и со спокойной душой.

— А как наш Андрей? Вы знаете что-нибудь? Мне он не пишет и не звонит. А я очень по нему скучаю и хочу увидаться, — заводит разговор Костя о моем сыне, своем сводном брате.

— Он под Авдеевкой, уже комбат. Дядя Миша рассказал, что батальон Андрея два месяца просидел в окопах по колено в воде, но дождался сильного тумана, под его прикрытием зашел в Авдеевку и закрепился на окраинах. Молюсь за Андрея каждый день.

— Знаете, наш Андрей какой-то особенный. Помните нашу овчарку — Хантера? Я никогда не забуду, как он рвался сам с ней гулять. И первый раз, ему тогда было лет шесть, я не устоял и отдал ему поводок. Хантер сразу просек, что началась вольница, и принялся, конечно, тянуть Андрея с силой во все стороны. А он сопротивлялся, падал, спотыкался, порвал брюки и куртку, поцарапал руки, содрал кожу с коленей и ладоней. И он не то чтобы не заплакал, а даже когда я подходил взять Хантера за ошейник, он отталкивал меня и говорил: «Отойди, пойми, я сам должен. Сам должен!»

Конечно, я помню результат этого выгула собаки. Но по лицам детей я понял, что произошло что-то совсем другое, намного более важное, чем просто неприятность, халатность или травма. По их лицам было видно, что произошло какое-то внутреннее изменение их обоих. Я наконец увидел, как дети подрастают и неминуемо взрослеют...

Раздался звонок в дверь. Костя сказал:

— Должно быть, Анжелика Алексеевна.

Он идет открывать дверь. И через минуту входит моя коллега, главный методист нашей учебной части, кандидат философских наук и большая умница в своей работе Анжелика Алексеевна. Для меня неожиданность и откровение ее визит к Косте. Не подозревал о таких встречах. Анжелика Алексеевна красива и стройна, думаю, ей лет тридцать пять, а ее глаза всегда выдавали ум, даже когда она еще была студенткой и я читал ей лекции. Я хорошо помню, как часто мой взгляд непроизвольно выбирал именно ее лицо, и вся мужская часть аудитории как бы сразу в этот момент направляла взгляды к ней. Костин тезис о кошачьей пустоте женских глаз, окружающих его, разбивается вдребезги с приходом Анжелики Алексеевны. Я думаю, что ее

красота и ум — нечто исключительное и небезопасное для знакомых мужчин. Кроме того, что она прекрасный методист, она отзывчивый и добрый товарищ, во всяком случае для меня. Ее отец — известный советско-российский поэт и писатель, к сожалению, примерно уже полтора-два года как скончавшийся. Она разведена, у нее есть сын лет тринадцати.

Войдя, она говорит бархатным голосом:

— Здравствуйте, друзья! Чай пьете? Очень кстати. Адски холодно.

Затем садится за стол, берет себе кружку, и пока мы суетимся с чайником, начинает говорить. Самое характерное в ее манере говорить — неизменно шуточный тон, какая-то помесь философии с балагурством, как у шекспировских гробокопателей. Она почти всегда говорит о серьезном, но никогда не говорит серьезно. Начинает с анекдотов и историй из университетской жизни.

— Года три тому назад, вот Георгий Викторович помнит, пришлось мне читать в актовом зале университета годовой доклад о наших научных прорывах. Презентация красивая, восемьдесят страниц. Конец июня, жарко, душно — просто смерть! Читаю полчаса, час, полтора часа, два часа... «Ну, думаю, слава богу, осталось еще двадцать страниц». А в конце, я знала, что есть страниц десять, которые можно и пропустить, и я, конечно, и планировала так сделать. Значит, осталось, думаю, еще десяток страниц до конца. Но представьте, взглянула мельком вперед и вижу: в первом ряду сидят рядышком директриса Института перспективных исследований проблем искусственного интеллекта (ИПИПИИ) — кто же ее не знает? — а около нее — какой-то генерал, видимо для надежной охраны, и мальчик ее новый из гламурной тусовки, театральные режиссер. Бедняги окоченели от скуки, таращат глаза, чтоб не уснуть, директрисе ИПИПИИ уже хочется пи-пии, а все-таки вся троица старается изображать на своих лицах внимание и делает вид, что мое чтение и слайды презентации им понятны, чрезвычайно интересны и даже нравятся. Ну, думаю, коли нравятся, так нате же вам! И показала все страницы без пропусков! Два часа сорок минут!

Когда Анжелика Алексеевна говорит и улыбается, то у нее, как вообще у насмешливых людей, выделяются одни только глаза. И в глазах у нее в это время нет ни ненависти, ни злости, но много остроты и той особой лисьей хитрости, какую можно подметить только у очень наблюдательных людей. Если продолжать говорить о ее глазах, то я заметил еще одну их особенность. Когда она принимает от Кости кружку, или выслушивает его комментарий, или провожает его взглядом, когда он за чем-нибудь ненадолго выходит из комнаты, то в ее взгляде я замечаю что-то кроткое, молящее, чистое...

За разговором мы поднимаем разные вопросы, преимущественно высшего порядка, причем больше всего достается тому, что мы больше всего любим, то есть науке.

— Наука, слава богу, отжила свой век, — говорит Анжелика Алексеевна с расстановкой. — Ее песня уже спета. Человечество уже чувствует потребность заменить ее чем-нибудь другим. Выросла она на почве предрассудков, вскормлена предрассудками и составляет теперь такую же квинтэссенцию из предрассудков, как ее отжившие бабушки: алхимия, астрология и метафизика. Что, в самом деле, потеряли дикие племена, которые до сих пор не знают науки?

— И мухи не знают науки, — говорю я, — но что же из этого?

— Вы напрасно сердитесь, Георгий Викторович. Я ведь это говорю здесь, между нами... Я осторожнее, чем вы думаете, и не стану говорить это публично, упаси бог! В массе людей живет предрассудок, что науки и искусства выше сельского хозяйства, промышленности, торговли и прикладных ремесел, типа медицины. Наша секта кормится этим предрассудком, и не мне с вами разрушать их.

Достается от Анжелики Алексеевны на орехи и молодежи.

— Измельчала нынче наша молодежь, — вздыхает она, — Не говорю уже об их идеалах, но хоть бы работать и мыслить умели толком! Вот уж именно: «Печально я гляжу на наше поколень».

Все эти разговоры об измельчании производят на меня всякий раз такое впечатление, как будто я нечаянно подслушал телефонный разговор своей дочери на сексуальную тему. Мне обидно, что обвинения огульны и строятся на таких давно избитых общих заявлениях, как измельчание, отсутствие идеалов или ссылка на прекрасное прошлое. Всякое обвинение, даже если оно высказывается дамой или в дамском обществе, должно быть сформулировано с возможною определенностью, иначе это не обвинение, а пустое злословие, недостойное порядочных людей.

Я учу студентов уже тридцать лет, но не замечаю ни измельчания, ни отсутствия идеалов и не нахожу, чтобы теперь было хуже, чем прежде. Уверен, что нынешние студенты не лучше и не хуже прежних.

Если бы меня спросили, что мне не нравится в теперешних моих учениках, то я ответил бы на это не сразу и не много. Недостатки их я знаю, и мне поэтому нет надобности прибегать к туману общих мест. Мне не нравится, что они курят, употребляют спиртные напитки и поздно женятся; что они беспечны и часто равнодушны даже к сверстникам в своей среде. Они плохо знают иностранные языки, как они сами выражаются — «типа на уровне Google», и неправильно и часто неграмотно выражаются по-русски. Они охотно поддаются влиянию писателей новейшего времени, даже не лучших, коими изобилует Internet, и абсолютно равнодушны к классике, и это их неумение отличать большое от малого ярко демонстрирует отсутствие у них внутренних опор, дающих человеку житейскую стойкость. Из-за этого они, гибкие и быстро адаптирующиеся, на поверку часто бесхребетны, что дает возможность ими с легкостью манипулировать и направлять их ум, силы и энергию в сторону, нужную управляющему, и это практически уничтожает их самостоятельность и способность к свободному выбору. Они склонны к приспособленчеству.

Вот многие профессора с геологического или географического факультетов жалуются мне, что им приходится читать вдвое больше, так как студенты плохо знают физику и приходится обучать их физике на уровне советского школьного курса, иначе они совсем не могут понять элементарные основы геологии или метеорологии. Но вина ли этих детей, что их сейчас так отвратительно учат в школе? Мне говорили директора самых известных в Москве частных гимназий, что им приходится давать школьникам теперь тоже вдвое больше: одни знания — «так, как есть», а другие — «правильные ответы для ЕГЭ». Во что могут вообще поверить, на что могут опереться люди, если им со школьного возраста выдают этот двойной стандарт?

Подобные недостатки, как бы много их ни было, могут породить пессимистическое и негативное настроение только в человеке малодушном. Все они носят случайный, преходящий характер и зависят от жизненных условий; достаточно лет десяти, чтобы они исчезли или уступили место другим, новым недостаткам, без которых не обойтись и которые в свою очередь будут пугать следующее поколение малодушных и робких. Студенческие грехи досаждают мне часто, но эта досада ничто в сравнении с той радостью, какую я испытываю уже тридцать лет, когда беседую с учениками, читаю им лекции, приглядываюсь к их отношениям и сравниваю их с людьми не их круга.

Я уже собирался уходить, когда Анжелика Алексеевна сказала:

— В последнее время вы ужасно похудели и состарились, Георгий Викторович. Что с вами? Больны?

— Да, болен немножко.

— И не лечится... — угрюмо вставляет Костя.

— Отчего же не лечитесь? Как можно? А я, знаете, последний семестр дорабатываю в университете. В июне уезжаю за границу, надолго, может быть, навсегда. Я ведь вступила в наследство отцовское и в авторские права на все произведения. Мне хватит даже на не очень скромную жизнь, и домик маленький есть в итальянской деревушке на море, рядом с Сорренто. Я уже все согласовала в ректорате, оформила документы и заявления. Перед отъездом будет мой прощальный банкет на факультете, приглашаю вас, приходите проститься. Непременно!

Выхожу я от Кости раздраженный, напуганный разговорами о моей болезни и недовольный собою.

Покрыто ли небо тучами, или сияют на нем луна и звезды, я всякий раз, возвращаясь, гляжу на него и думаю о том, что скоро меня возьмет смерть. Казалось бы, в это время мысли мои должны быть глубоки, как небо, яркие, поразительны... Но нет! Я думаю о себе самом, о жене, Анюте, ее ухажере, о студентах, вообще о людях; думаю нехорошо, мелко, хитрю перед самим собою, и в это время мое мирозерцание может быть выражено словами, которые Салтыков-Щедрин сказал в одном из своих произведений: «Все хорошее на свете не может быть без дурного, и всегда более дурного, чем хорошего». То есть все гадко, не для чего жить, а те годы, которые уже прожиты, следует считать пропащими. Я ловлю себя на этих мыслях и стараюсь убедить себя, что они случайны, временны и сидят во мне не глубоко, но тотчас же я думаю: «Если так, то зачем же я так часто хожу к Косте?»

И я даю себе клятву больше никогда не ходить к Косте, хотя и знаю, что пройдет максимум неделя, и я опять пойду к нему в гости.

Заходя в свою квартиру, бывшую квартиру моего друга Стаса, который не дожил до своего тридцатилетия, я чувствую, что у меня уже нет семьи и нет желания вернуть ее. Ясно, что мысли Салтыкова-Щедрина сидят во мне не случайно и не временно, а владеют всем моим существом. С большой совестью, унылый, ленивый, едва шаркая ногами, точно во мне прибавилась тонна веса, я ложусь в постель и скоро засыпаю.

А потом — бессонница...

## Глава 6

Бывают страшные ночи. Осенью они обычно с громом, молнией, дождем и ветром. Зимой эти ночи необычайно тихие, морозные и неприветливые, так что не хочется выходить на улицу. У шаманов такие ночи называются «совиными», они не спят и тихо заговаривают это время: «Совий глаз черен, как ночь, а голос совы душен, как угли потухшей печи...» Такая совиная ночь наступает и у меня.

Я просыпаюсь, как всегда, во втором часу и вскакиваю с постели. Мне кажется, что я сейчас внезапно умру. Почему кажется? Нет ни одного ощущения, которое указывало бы на скорый конец, но душу мою гнетет такой ужас, будто я вдруг увидел громадное зловещее зарево ядерного взрыва.

Я быстро зажигаю свет, пью воду, спешу к окну. Погода на дворе морозная и великопная. На небе спокойная, очень яркая луна и ни одного облака. Полнейшая тишина, совсем нехарактерная для Кутузовского проспекта. Мне кажется, нечто невидимое глазу смотрит на меня из-за окна и прислушивается, как я буду умирать...

Жутко. Щупаю у себя пульс и, не найдя на руке, ищу его в висках, потом на шее и опять на руке. Дыхание учащается, тело дрожит, все внутренности в движении, на лице и на волосах такое ощущение, будто на них садится паутина.

Что делать? Позвать жену и дочь? Нет, не нужно. Что будут делать жена и Аня, когда войдут ко мне?

Я прячу голову под подушку, закрываю глаза и жду, жду... спине холодно, и такое чувство, как будто смерть подойдет ко мне непременно сзади, потихоньку...

— Куик-куик! — раздается вдруг писк в ночной тишине, и я не знаю, где это: в моей груди или на улице?

— Куик-куик!

Мне страшно! Выпил бы еще воды, но уже страшно открыть глаза и поднять голову. Ужас безотчетный, животный, и я никак не могу понять, отчего мне страшно: оттого ли, что хочется жить, или оттого, что меня ждет новая, еще не изведенная боль?

Наверху, за потолком, у соседей, кто-то не то стонет, не то смеется... Прислушиваюсь. Немного погодя в гостиной раздаются шаги. Замирают у двери в мою комнату.

— Кто там? — кричу я.

Дверь отворяется, я смело открываю глаза и вижу жену. Лицо у нее бледно и глаза заплаканы.

— Ты не спишь, Гоша? — спрашивает она.

— Что тебе?

— Ради бога, сходи к Аняте и посмотри на нее. С ней что-то делается... Может, позвонить в неотложку?

— Хорошо... — бормочу я, довольный тем, что я не один такой в мире. — Хорошо... Иду.

Я иду за женой, слушаю, что она говорит, и ничего не понимаю от волнения. Я задыхаюсь, и мне кажется, что за мной кто-то гонится и хочет схватить за спину. «Сейчас умру здесь, — думаю я. — Сейчас...» Но вот миновали гостиную и коридор с итальянским окном и входим в комнату Аняты. Она сидит на постели в одной сорочке, свесив босые ноги, и стонет.

— Ах, боже мой... ах, боже мой! — бормочет она, жмурясь от включенного света. — Не могу, не могу...

— Анята, доченька, — говорю я. — Что с тобой?

Увидев меня, она вскрикивает и бросается мне на шею.

— Папа мой добрый... — рыдает она, — папа мой хороший... Я не знаю, что со мною... Тяжело!

Она обнимает меня, целует и лепечет ласковые слова, какие я слышал от нее, когда она была еще ребенком.

— Успокойся, доченька, — говорю я. — Не нужно плакать. Мне и самому бывает тяжело.

Я стараюсь укрыть ее, жена дает ей пить, и оба мы беспорядочно толчемся около постели; плечом я толкаю ее в плечо, и мне вспоминается, как мы когда-то вместе купали наших детей.

— Да помоги же ей, помоги! — умоляет жена. — Сделай что-нибудь!

Что же я могу сделать? Ничего не могу. На душе у девочки какая-то тяжесть, но я ничего не понимаю, не знаю и могу только бормотать.

— Ничего, ничего... Это пройдет... Спи, спи...

Когда я, немного погодя, возвращаюсь к себе в комнату, чтобы найти в аптечке какое-нибудь лекарство для Аняты, я уж не думаю о том, что скоро умру, но на душе тяжело, нудно, и даже жаль, что я не умер внезапно. Долго стою среди комнаты неподвижно и придумываю, что бы такое дать дочери, вдруг стоны за потолком умолкают, и я решаю, что ничего не нахожу, и все-таки стою...

Тишина мертвая, такая тишина, что даже в ушах звенит. Время идет медленно, полосы лунного света на подоконнике не меняют своего положения, точно застыли... Рассвет еще не скоро.

Но вдруг звонок в дверь. Жена открывает и выпускает Костю. Он, быстро раздевшись, проходит в мою комнату.

— Георгий Викторович! — слышу я голос Кости немного отдаленно, как будто через стекло. — Батя!

— Костя, зачем ты приехал? Что у тебя случилось?

— Простите, — говорит он. — Ничего у меня не случилось... Мне вдруг стало невыносимо тяжело... Я не выдержал и поехал к вам... У вас в окнах увидел свет и... и решил зайти... Извините... Если б вы знали, как мне было тяжело! Что вы сейчас делаете?

— Ничего... Бессонница.

— У меня какое-то предчувствие было.

Брови его поднимаются, глаза блестят, будто недавно в них были слезы, и все лицо озаряется, как светом, знакомым мне, но давно не виденным выражением доверчивости.

— А знаете что, Георгий Викторович, не прокатиться ли нам с ветерком?

Внизу, в гараже, стоит гоночный автомобиль «Сильвия-ниссан-2000», на котором я с Костиным отцом, еще будучи студентом, разогнался на Рублевском шоссе до трехсот километров в час. Больше мы не сумели, потому что чувствовали, что сейчас оторвемся от полотна и полетим. Костя тоже поклонник быстрой езды и этот автомобиль особенно любит. Иногда специально приезжает, чтобы на нем покататься.

— Поехали, Костя. Ты за рулем. Надеюсь, не пил вечером?

— Что вы, батя, лет пять уже не пью.

Мы одеваемся и спускаемся в паркинг. Садимся, заводимся и выруливаем на Кутузовский. «Ниссан» разгоняется быстро и летит по совершенно пустому проспекту. Мы сворачиваем на Рублевку, летим дальше и дальше и скоро пролетаем МКАД. Дальше свобода, ни одной машины на трассе. Мы продолжаем набирать скорость, уже двести пятьдесят. Это удовольствие сложно описать словами, оно схоже только со скоростным спуском на горных лыжах. Я смотрю на Костю и вижу, что его отпускает и вместо тяжести и печали к нему возвращаются легкость и веселье. В кровь пошел адреналин.

Вдруг иссиня-синее, безоблачное морозное небо окрашивается в ярко-зеленый цвет, живой и объемный, который то вдруг слегка растягивается, а то вдруг сжимается по линии всего горизонта, в каком-то незатухающем фантастическом блюзовом ритме.

— Что это? — пораженно восклицает Костя.

— Это, сын мой, северное сияние. Слава богу, дожили мы до того, чтобы увидеть это красивейшее явление в Московской области.

— Да разве такое возможно, мы так далеко от полюса?

— Наш университетский геофак утверждает, что возможно, и мы уже не очень далеко от полюса. Магнитные полюса перемещаются. И сейчас Северный находится над Россией. Где точно, это наши экспедиционщики скоро определят и даже точку на карту нанесут, только это знание будет дано нам ненадолго, ровно до следующего скачка. Из-за таких необъяснимых скачков магнитных полюсов и возможны такие чудеса природы. Мир сказочен и загадочен. Понимают это только шаманы и ученые.

Мы снижаем скорость и любуемся сиянием в небе еще несколько минут, потом разворачиваемся и возвращаемся в Москву.

— Георгий Викторович, — после долгой молчаливой паузы начинает разговор Костя, — я как-то в детстве нашел тетрадку отца, старую такую, в клеточку, и там его ру-

кой были написаны стихи и его какие-то заметки. Я так понял, что это он в армии ваши стихи записал?

— Не стихи, Костя, а песни. Помнишь дядю Мишу, он приезжал к нам несколько раз в гости, зазывал тебя позаниматься в его бойцовском клубе? Так вот он даже пел их, не помнишь такого?

— Вспоминаю теперь. Знаете, я читал их в детстве сначала себе, а потом себе и Андрею. И мы пытались играть в десантников, защищающих высоту три тысячи двести. У нас ничего не получалось. Проходило несколько дней, мы опять читали и опять пытались играть в десантников, и у нас опять не получалось, и мы быстро бросили эту игру. Через какое-то время Андрей сказал: «Бесполезно в это играть, надо просто такими быть». И я понял его. Мы привыкли, что литературные произведения принято описывать в терминах «нравится-не нравится», «гениальное-посредственное», «чувственное-тупое», а тут совсем другое. Про эти записи так не скажешь. Это как свое, оно может быть прекрасным или ужасным, смешным или грустным, но оно свое, нечужое, понимаете?

— Эти песни — солдатская правда нашего взвода. И там, на высоте, они выражали нашу общую идею, дававшую нам смысл и силу. Мы еще не могли сформулировать ее в словах в силу молодости и неискушенности ума. Но она уже витала над нами, когда мы начинали петь.

Минуту мы молчим.

— Скажи мне, Костя, а если нужно было бы оставить только одно стихотворение из всех, что ты прочел, какое бы ты оставил?

— Я бы оставил вот это:

Бывает миг в бою — молитвы не спасут,  
Спасает мужество и сталь клинков булатных.  
Сегодня отпустил нас Высший суд,  
Забрав в присяжные не самых кровожадных.

Но жить, друзья, нам выпало сейчас,  
Не завтра и не даже после боя,  
Когда из трех останется нас двое  
Или когда совсем не станет нас.

И снова пушки дребезжат наперебой,  
И в вещмешке лежит последняя граната,  
И расцветает желтый зверобой  
Разлукой в вечность уходящего солдата.

Но жить, друзья, нам выпало сейчас,  
Не завтра и не даже после боя —  
Один останется, а было двое,  
Или когда совсем не станет нас.

Наступит день — я завершу последний бой  
И, сдав оружие, не попрошу о многом:  
Мне нужен одиночества покой.  
Я жажду быть забытым  
Даже Богом...

## Глава 7

Я в Симферополе. Пасмурно, дождь, февраль.

Так как бороться с теперешним моим настроением было бы бесполезно, да и не в моих силах, то я решил, что последние месяцы жизни будут безупречны хотя бы с формальной стороны; если я не прав по отношению к своей семье, что я отлично сознаю, то буду стараться делать так, как она хочет. К тому же в последнее время я так равнодушен ко всему, что мне решительно все равно, куда ехать, в Симферополь, в Париж или в Рио-де-Жанейро.

Приехал я сюда около полудня и остановился в отеле, напротив Александро-Невского собора. Надо было бы сегодня же встретиться со знакомыми профессорами Крымского университета, да нет сил.

Последние месяцы моей жизни, пока я жду неминуемого, кажутся мне гораздо длиннее всей моей жизни. И никогда раньше я не умел так мириться с медленностью времени, как теперь. Прежде, бывало, когда ждешь на вокзале поезда или сидишь на экзамине, четверть часа кажутся вечностью, теперь же я могу всю ночь сидеть неподвижно на кровати и совершенно равнодушно думать о том, что завтра будет такая же длинная, бесцветная ночь и послезавтра...

Чтобы занять себя мыслями, я вспоминаю прежнюю свою точку зрения, когда не был равнодушен, и спрашиваю: зачем я сижу в этом номере, на этой кровати с чужим серым одеялом? И на этот вопрос я отвечаю себе усмешкой. Смешна мне моя наивность, с какою я когда-то в молодости преувеличивал значение известности и того исключительного положения, каким будто бы пользуются знаменитости. Сижу я один-одинешенек в чужом городе, на чужой кровати... Семейные дразги, неустроенность детей, немилосердие начальства, дорогая и нездоровая пища в ресторанах и фастфудах, снижение уровня культуры и жесткость в отношениях — все это и многое другое, что было бы слишком долго перечислять, касается меня так же, как любого другого человека, известного только соседям по дому.

Что-то пикнуло в ноутбуке. Пришло письмо от жены: «Дорогой Гоша! Анюта и Женя Гоцан втайне от всех в конце осени подали заявление в загс. И сейчас рассылают приглашения на свою свадьбу, которая будет 29 февраля. Анюта сегодня вручила мне его, собрала вещи и сказала, что уезжает жить к Жене на съемную квартиру. Возвращайся скорее. Твоя Лена».

Я читаю письмо и пугаюсь ненадолго. Пугает меня не поступок Анюты и Жени, а мое равнодушие, с каким я встречаю известие об их свадьбе. Говорят, что философы и истинные мудрецы равнодушны. Неправда, равнодушие — это паралич души, преждевременная смерть.

Выхожу из почты, машинально смотрю новостную ленту и моментально улавливаю нужную мне весть: «Главком ВСУ (вооруженных сил Украины) объявил об отходе войск из Авдеевки и переходе на более удобные рубежи обороны».

Для меня это волнительная новость. Я уверен, что батальон Андрея именно там.

Я ложусь в постель, как всегда, около полуночи. Засыпаю быстро, вижу черную дымку, которая потихоньку светлеет, и понемногу начинаю различать фигуру взрослого мужчины, который держит за руку маленького ребенка. Когда становится светлее, я понимаю, что это мой отец Виктор, которого я похоронил в один год со Степкой Проваловым. Отцу немного больше тридцати, должно быть, ребенок, которого он держит за руку, это я в детстве. Я приглядываюсь к ребенку и вдруг понимаю, что это Ан-

дрей и ему не больше трех лет. Я пытаюсь кинуться к ним и обнять обоих, но отец взглядом останавливает меня, и я буквально застываю на месте. Через мгновение отец, слегка кивнув мне, разворачивается и, ведя Андрея за руку, уходит с ним от меня все дальше и дальше. А я так и стою как вкопанный, будто превратился в камень. И не могу ни догнать их, ни задержать. Только смотреть им вслед, не в силах ни пошевелиться, ни сказать что-то. Кажется, сейчас остановится сердце и иссякнет свет в глазах. Андрей с отцом скрываются вдаль, а земля передо мной вдруг разверзается черной ямой, будто кто-то выкопал из угольной шахты выход на поверхность. Из ямы появляется Степка Провалов и, глядя мне прямо в глаза, говорит: «Уходи. Я помогу...»

Я вздрагиваю и просыпаюсь с полностью онемевшими конечностями и туловищем и чувствую сильную немую боль во всем теле. «Боже, мой! Андрей!.. Где же ты? Почему я вчера не поехал к тебе в Авдеевку? Зачем я здесь, в этом Симферополе? Прости меня! Дождись меня, Андрей, заклинаю всем, что у меня есть! Как тебя попросить об этом, чтоб ты услышал? Господи, прости меня, неразумного раба твоего!»

Я понимаю, что сегодня больше все равно не усну, и начинаю придумывать, какими бы занять себя мыслями, чтобы не погрузиться в хаос и ужас, царящие в душе.

Наступает рассвет, я сижу в постели, обняв руками колени, и стараюсь познать самого себя. «Познай самого себя» — прекрасный и полезный совет, жаль только, что древние не догадались указать способ, как пользоваться этим советом.

Когда мне прежде приходила охота понять кого-нибудь или себя, то я принимал во внимание не поступки, в которых все условно, а желания. Скажи мне, чего ты хочешь, и я скажу, кто ты.

И теперь я экзаменую себя: чего я хочу?

Я хочу, чтобы наши жены, дети, друзья, ученики любили в нас не имя, не бренд, не мысли, а обыкновенных людей. Еще что? Я хотел бы иметь помощников и наследников. Еще что? Хотел бы проснуться лет через сто и хоть одним глазом взглянуть, что будет с наукой. Хотел бы еще пожить лет десять... Дальше что?

А дальше ничего. Я думаю, долго думаю и ничего не могу еще придумать. И сколько бы я ни думал и куда бы ни разбрасывались мои мысли, для меня ясно, что в моих желаниях нет чего-то главного, чего-то очень важного.

В моем пристрастии к науке, в моем желании жить, в этом сидении на чужой кровати и в стремлении познать самого себя, во всех мыслях, чувствах и понятиях, какие я составляю обо всем, нет чего-то общего, что связывало бы все это в одно целое. Каждое чувство и каждая мысль живут во мне особняком, и во всех моих суждениях о науке, искусстве, литературе, учениках и во всех картинках, которые рисует мое воображение, даже самый искусный аналитик не найдет того, что называется общей связующей идеей или богом живого человека. А только ли у меня одного так? В нашей стране тоже нет общей связующей идеи, поэтому у нас раскол в семьях, среди коллег в университете, в одноклассниках, одноклассниках, однокурсниках, во всех социальных средах и группах.

А ведь без этой идеи и не будет ничего путного. Чем грозит отсутствие такой идеи?

При такой духовной нищете у отдельного человека достаточно любого несерьезного недуга, страха смерти, влияния обстоятельств и людей, чтобы все, в чем он видел смысл и радость своей жизни, перевернулось вверх дном и разлетелось в клочья. То же самое касается и общества в целом, отсутствие такой идеи грозит развалом сначала семей и групп, а потом и государства.

Для меня неудивительно, что последние месяцы своей жизни я омрачил мыслями и чувствами, достойными раба, что теперь я равнодушен и не замечаю рассвета.

Когда в человеке нет того, что выше и сильнее всех внешних влияний, то, право, достаточно для него хорошего насморка, чтобы потерять равновесие и начать видеть в каждой птице сову, в каждом звуке слышать волчий вой. А вот то, что я, философ, не трачу последние дни жизни, чтобы помочь своей стране найти эту общую связующую идею — это крайне печально для меня как для ученого. Нет, я должен успеть ее найти, пока живу!

Легкий стук в дверь. Стоило подумать о нужном, как я сам сразу стал кому-то нужен.

— Кто там? Войдите!

Дверь открывается, и я, удивленный, отступаю назад, передо мной стоит Костя.

— Здравствуйте, — говорит он, тяжело дыша. — Не ожидали? Я тоже... тоже неожиданно приехал.

Он садится и продолжает, слегка запинаясь и не глядя на меня:

— Что же вы не здороваетесь? Я тоже приехал... сегодня... Узнал, что вы в этой гостинице, и пришел к вам.

— Очень рад видеть тебя, Костя, — говорю я, пожимая плечами, — но я удивлен... Ты точно с неба свалился, прямо как десантник. Зачем ты в Симферополе?

— Я? Так... просто взял да и приехал.

Молчание. Вдруг он порывисто встает и идет ко мне.

— Георгий Викторович! — говорит он, бледнея и сжимая кулаки. — Я не могу дольше так жить! Не могу! Ради бога, скажите скорее, сейчас: что мне делать? Говорите, что мне делать?

— Что же я могу сказать? — недоумеваю я. — Я правильно понимаю, что ты про Анжелику Алексеевну спрашиваешь?

— Говорите же, не спрашивайте, вы всех нас всегда знаете лучше, чем мы сами! — продолжает он, задыхаясь и дрожа всем телом.

— Не знаю. Хорошая женщина, мне всегда нравилась. Решай сам. Про себя могу сказать, если бы мне дали еще десяток лет жизни, то я согласился бы пожить жизнью итальянского рыбака в деревне под Сорренто. До света на баркасе уходил бы в море с такими же итальянскими стариками, как я. Смотрел бы, как над морским горизонтом плавно и ярко поднимается солнце. Они пели бы итальянские песни о любви, а я бы слушал. К обеду бы возвращались с уловом и, быстро раздав его по лавкам и ресторанам, шли бы домой. Где нас ждали бы прекрасные старухи вроде нашей Анжелики Алексеевны. Хотя какая она старуха, вполне может тебе детей родить. И у вас будут красивые и умные дети. Потомки польских и русских дворян, если вообще можно как-то разделить дворян на польских и русских, как по мне, это давно одно и то же, начиная с внука Тараса Бульбы.

Лицо Кости немного светлеет, и я продолжаю:

— Так вот, итальянские рыбаки обычно ужинают с женами и пьют вино, чтобы в момент, когда последний луч солнца уйдет за горизонт, уже закрыть глаза и крепко уснуть до самой зари. Сон — ведь это особое счастье, скажу я тебе.

— Говорите, прошу вас, батя!

— Но ты молод, и у тебя огромный горизонт возможностей. Я люблю твои съемки под водой. А вот заметь, уже в космосе сняли кино. Может, ты возьмешься снять фильм под водой? Помни только одно: главное — это удивить наш мир. Поэтому неважно, чем конкретно ты займешься. Как вообще я могу сказать, что тебе делать и чем заниматься? Вначале давай так — удиви себя сам. А потом поймешь, как удивить мир. А дальше все получится само.

Минута проходит в молчании. Костя задумчив, но уже спокоен.

— Георгий Викторович! — говорит Костя, протягивая ко мне руки. — Дорогой мой, прошу вас... Согласитесь на мою просьбу!

— Что такое?

— Возьмите мои деньги! Вы поедете куда-нибудь лечиться... Вам нужно лечиться. Возьмете?

— Послушай меня, милый мой сын Константин. Ты ведь догадываешься по поводу моего серьезного отношения к деньгам? Давай так. Я с твоим отцом защищал нашу Родину, но мы знали, что Родина наша принадлежит не только нам. Твой отец Станислав Константинович также мужественно и беззаветно защищал эти деньги и знал, что они принадлежат не только ему. Так чьи они еще? Если ты можешь принять их в дар как наследник, то, значит, принимай и распоряжайся. Если ты не можешь перенести такого дара и к тому же не понимаешь, чьи еще это деньги и кому их передать, то я бы рекомендовал тебе отдать их Ходаковскому на «народный дрон». Наши университетские инженеры-эксперты хвалят, говорят, толковая и надежная вещь. А знаешь, как эти дроны необходимы? Это глаза нашего фронта. Мы с твоим отцом когда-то были глазами сороковой армии в Афганистане. И мы глядели так, что наши глаза превращались в совиные, способные видеть в сплошном мраке. Всегда важно видеть противника. Ты даже не представляешь, сколько жизней в итоге эти глаза-дроны могут спасти! Так что нет, друг мой, я не возьму этих денег. Распорядись сам.

Костя слегка поникает головой, но принимает мой довод, который не допускает дальнейших разговоров о деньгах.

— А вот кое о чем попрошу тебя, — после небольшой паузы говорю я, — давай квартиру на Кутузовском я перепису на нашу Анюту. Хотя, по совести, квартиру твоего отца я должен был бы оставить тебе. Но что-то мне подсказывает, что у Анюты будет большая семья, и уже совсем скоро.

— Батя, я и не собирался туда возвращаться. Еще в 2010 году, когда поехал в Америку, я понял, что покидаю отчий дом навсегда, вроде как «перерос» или, наоборот, никуда не вырасту, находясь в вашей тени. Потому твердо решил: буду возвращаться туда только в качестве гостя, повидаться с вами и с теми, кого с детства люблю. Давайте оставим Анюту...

— Только ты не забывай, приезжай к ней в гости, она будет рада тебя видеть. Ты даже не представляешь, насколько женщины, у которых есть старшие братья, счастливее тех, у которых их нет... Помни об этом, радуй ее!

Еще одна минута проходит в молчании.

— Не нравится мне Симферополь, — говорю я. — Серо уж очень. Какой-то хмурым город.

— Дожди. Но мы же при солнце его не видели. Вот Петербург в пасмурную погоду — тусклый и давящий город, а когда солнце — красив так, что глаз не оторвать. Может, и Симферополь так же хорош при свете? Но я, вообще-то, ненадолго сюда... Сегодня же уеду.

— Куда?

— Не знаю. Пока не решил. Но в Москве не могу ничего делать, в ближайшее время туда не вернусь.

Мне хочется сказать ему: «Не успеешь надолго уехать, Костя! Дела семейные — дела важнейшие, свадьба или похороны, что-то да тебя вернет. Сможешь ли уехать после этого? Хватит ли у тебя сил?»

Но я молчу, и скулы мои сжимаются, словно в спазме.

Костя более уверенным голосом продолжает:

— Мне нужно осуществить мою задумку — написать книгу.

— О чем?

— О вас и о своем отце, о вашем сыне Андрее, самом близком для меня человеке. Знаете, лет в тринадцать я вдруг почувствовал, что, несмотря на возраст, не я старший брат в семье, а мы просто братья, равные. И счастье в том, что брат есть, и старшинство ни при чем. Мы необходимые друг другу части, без которых это целое перестает существовать. И мы не можем ничего друг за друга решать или командовать и помыслить друг другом. По большому счету, мы можем только ценить друг друга и поддерживать. Я ведь плохо помню моего родного отца, но мне кажется, что вы с ним тоже две неразрывные части чего-то целого, поэтому вы для меня настоящий отец.

Костя замолк, а я думал, как точнее выразить его мысли. Вдруг Костя встрепенулся:

— И еще у меня осталась армейская тетрадка отца, где ваши песни и его записи. Я понял недавно, что в жизни только вами и горжусь. Ну и еще дядей Мишей, конечно. Только об этом я и могу написать, это если от души и по правде.

— Как назовешь книгу?

— Мне кажется, что отлично подходит строчка из Высоцкого: «Мы не успели оглянуться, а сыновья уходят в бой...»

— Длинновато для названия, подумай, как сократить.

Наступает молчание. Костя одевается молча и не спеша. Выражение лица становится суровым и мужским, напоминая мне лицо его отца. Я смотрю на него, и мне стыдно, что я счастливее этого молодого человека. Отсутствие того, что мои братья-философы называют общей связующей идеей, я заметил в себе только с началом болезни и, значит, незадолго перед смертью, на закате своих дней, а ведь душа Кости не будет знать приюта всю его оставшуюся жизнь! Такая плата поколения наших детей за ту жизнь, что мы строили или, наоборот, строили не мы, и строилась она без нашего участия, а только с нашего молчаливого малодушного согласия. Такая плата за нашу умственную лень, которая толкала нас поручить это важнейшее строительство другим людям.

— А вы когда возвращаетесь в Москву? — спрашивает Костя.

— Мне не к спеху. Поеду в Донецк. Там знакомая профессура, прочитаю лекции в их университете. Они как-нибудь да свяжут меня с командованием. Выпрошу у какого-нибудь генерала разрешение и пропуск доехать до Авдеевки. Хочу увидеть людей, которые называли моего сына «батя», и попрощаться с Андреем. Давай прощаться, друг мой Костя! Береги себя!